

Для нас, людей XX века, «Записки императрицы Екатерины II» и «Записки княгини Е. Р. Дашковой» — исторические источники, читая которые мы глубже постигаем прошлое. Во времена Пушкина эти мемуары еще были огнедышащими вулканами; их раскаленная лава не успела остыть; они были переполнены намеками на злобу дня; тщетно пыталось правительство изъять из обращения списки крамольных воспоминаний.

Мемуары продолжали оставаться злободневными и два десятилетия спустя, когда они были напечатаны в изданиях Вольной русской типографии в Лондоне; избличая историю царствующей династии, историю закулисную, темную и порой непристойную, полную жестких интриг и необузданного разгула страстей, эти «замогильные голоса» помогали Герцену выставить на всеобщее обозрение тайные пороки самодержавия.

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была выдающейся русской женщиной XVIII века; в предисловии к ее запискам Герцен писал: «В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторам жизни из-под плесни московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. XII, М., 1957, с. 362.

Дашкова родилась в 1743 году в семье Воронцовых, давшей России прославленных государственных деятелей. Ее отец Роман Илларионович Воронцов был сенатором и генерал-аншефом; ее дядя Михаил Илларионович, в доме которого она воспитывалась, играл видную роль в царствование Елизаветы Петровны, занимая посты вице-канцлера, а затем канцлера; он покровительствовал Ломоносову, интересовался успехами отечественной науки. Братья Дашковой — Александр и Семен Романовичи Воронцовы — стяжали широкую известность на дипломатическом поприще.

Любознательная Екатерина Романовна жадно читала книги, учила иностранные языки; благодаря упорству и настойчивости она стала одной из образованнейших женщин своего времени; в 1783 году Екатерина II назначила ее президентом Петербургской академии наук и Российской академии.

Дашкова подолгу жила за границей; там она знакомилась с памятниками старины, изучала политические установления западноевропейских стран, встречалась с писателями, философами, учеными, общественными деятелями. На страницах ее записок мелькают имена Вольтера и Дидро, борца за независимость Корсики Паоли, английского историка Робертсона, французского публициста Рейналя, шотландского математика Фергюсона, французского астронома Лаланда и многих других. Она много повидала на своем веку, ей было о чем вспомнить.

У каждого человека бывают свои пристрастия. У одних они выказывают мелочность натуры, у других — широту ее. Дашкову влекло к людям талантливым, эрудированным, высоко возвышавшимся над посредственностью. Одним из таких людей, безусловно, был глава французских энциклопедистов Дени Дидро. О своих встречах с этим выдающимся человеком Дашкова рассказывает в своих записках особенно подробно, не спеша, словно боясь упустить какую-либо подробность.

«В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого, за исключением Дидро, — вспоминала Дашкова. — Обыкновенно я выходила из дому в 8 часов и до трех пополудни разъезжала по городу, затем останавливалась у подъезда Дидро; он садился в мою карету, я везла его к себе обедать и наши беседы с ним длились иногда до двух, трех часов ночи. <...>

Все 17 дней моего пребывания в Париже были для меня крайне приятными, так как я посвятила их осмотру достопримечательностей, а последние 10—12 дней провела всецело в обществе Дидро».<sup>2</sup>

По свидетельству же Дидро, оставившего статью о своем знакомстве с Дашковой, он «провел с ней в это время четыре вечера, от пяти часов до полночи, имел честь обедать и ужинать, и был почти единственным французом, которого она принимала».<sup>3</sup>

Сведения Дидро более точные, чем запись Дашковой: он писал статью в 1770 году, по горячим следам своих встреч с русской путешественницей; Дашкова писала по памяти, спустя три с половиной десятилетия. Впрочем, возможно, что ее ошибка в арифметике обязана не провалам памяти, а ее желанию изобразить свои отношения с Дидро более основательными, чем они были на самом деле; скорее всего это было сознательное преувеличение, искусная ретушь — для потомства; ведь она не знала, что в бумагах Дидро лежит рукопись статьи, которая изобличит ее.

«Несмотря на погоду ноябрьскую, Дашкова каждое утро выезжала около девяти часов и никогда не возвращалась домой раньше вечера, к обеду, — продолжает Дидро. — Все это время она отдавала осмотру замечательных вещей, картин, статуй, зданий и мануфактур.

Вечером я приходил к ней толковать о предметах, которых глаз ее не мог понять и с которыми она могла вполне ознакомиться только с помощью долгого опыта, — с законами, обычаями, правлением, финансами, политикой, образом жизни, искусствами, науками, литературой; все это я объяснял ей, насколько сам знал. <...>

Она искренно ненавидит деспотизм и все проявления тирании. Она коротко знакома с настоящим управлением и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках представителей его. Метко и справедливо раскрывает выгоды и пороки новых учреждений».<sup>4</sup>

Настоящим управлением Дашкова и Дидро именовали английские конституционные порядки. Однако стоило завести разговор о ее родине, как представления Дашковой о социальном устройстве круто менялись.

<sup>2</sup> Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907, с. 101—107.

<sup>3</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 372.

<sup>4</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 372—376.

«Когда Екатерина задумала издать Свод законов, она спросила совета у Дашковой, которая заметила: „Вы никогда не увидите окончания его, и в другое время я сказала бы вам причину; но и попытка великое дело; самый проект составит эпоху“».<sup>5</sup>

Мы не знаем, был ли подобный разговор между Екатериной II и Дашковой, не сочинен ли он задним числом, чтобы представить себя в пророческом ореоле перед французским философом; в данном случае нас интересует не историческая точность свидетельства Дашковой, а самый смысл ее прогноза, ее сомнения в возможности введения в России XVIII века свода законов, который в какой-то мере ограничил бы произвол самодержавной власти.

Подобная же двойственность — расхождение между теоретическим признанием свободы в области социальных отношений и несвоевременности ее осуществления в условиях России второй половины XVIII века — свойственна Дашковой и в вопросе о крепостном праве. Излагая содержание своих бесед с Дидро, она писала, что «однажды разговор коснулся рабства наших крестьян». Княгиня уверяла Дидро, что она установила в своем «орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснения мелких чиновников». Дидро возразил ей: «Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче».

Дашкова не стала оспаривать мнение Дидро. «Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой». Как мы видим, Дашкову сильнее волновал вопрос о независимости дворянского сословия по отношению к верховной власти, нежели величайшая социальная проблема России, проблема бесправия крестьян. Ей мерещилась палата лордов, идеалом ее было политическое верховенство аристократии.

«Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок, — продолжала свою мысль княгиня. — Когда низшие классы

<sup>5</sup> Там же, с. 376.

моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они только тогда сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

«Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили», — вежливо, но в то же время непреклонно ответил ей Дидро.

И тут Дашкова блеснула замысловатым сравнением, уподобив крепостного слепорожденному: «... мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон пропастью; лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугают окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния».

Дидро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул:

„Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет“».<sup>6</sup>

Взволнованно шагая по комнате, Дидро, вероятно, вспоминал лето 1749 года, когда его арестовали и посадили в Венсенский замок. Свыше трех месяцев продержали его в тюрьме; власти пытались запугать его, автора «Письма о слепых в назидание зрячим».

Дашкова, конечно, читала это смелое произведение своего собеседника. В этом письме Дидро атаковал религиозные догматы и философский идеализм.

Власти просчитались. Арест не запугал его. Напротив, насилие вызвало в нем резкое противодействие. Он переходит в наступление; вместе с друзьями он начинает выпускать тома «Энциклопедии», мощные просветитель-

ские снаряды, которые били по твердыне французского абсолютизма.

С «Письма о слепых в назидание зрячим» начинался, по сути дела, истинный Дидро; поэтому оно было особенно дорого философу, поэтому полемические выпады Дашковой против его мыслей, высказанных в этом письме, особенно взволновали его.

«Внешние признаки власти, оказывающие такое действие на нас, нисколько не смущают слепых. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику, как к равному. Угрозы не напугали его. „Что можете вы сделать со мной?“ — сказал он г-ну Эро. „Я засажу вас в тюремный карцер“, — ответил ему чиновник. „О сударь, — возразил ему слепой, — вот уже двадцать пять лет, как я сижу в нем“. Что за изумительный ответ, сударыня, и что за тема для человека, любящего так морализировать, как я! Мы покидаем жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как темницу...»<sup>7</sup>

И вот находится женщина, которая переворачивает вверх дном его мысль. Дидро любил парадоксы. Но он не любил, когда его оружие обращали против него самого. А ведь нельзя отказать княгине в том, что она изобрела парадоксальную ситуацию — слепорожденный на вершине скалы!

Конечно же, Дашкова понимала, что в письме Дидро образ слепорожденного искусно менялся по прихоти автора; на некоторых страницах в его уста он вкладывал свои собственные мысли.

«Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им какое-нибудь чудо — чудо, которое было бы таковым только для них и в которое их вольнодумцы отказывались бы верить. Не могли ли бы защитники религии почерпнуть в свою пользу доводы из столь упорного, столь справедливого в известных отношениях и, однако, столь мало обоснованного неверия? Если вы примете на минуту это допущение, то оно должно будет вам напомнить — в другом виде — историю с преследованием людей, имевших несчастье открыть истину в эпохи мрачного невежества и неблагоприятно сообщивших ее своим слепым

<sup>6</sup> Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907, с. 101—103.

<sup>7</sup> Дидро Д. Избранные произведения. М.—Л., 1951, с. 268.

современникам, среди которых у них не было более ожесточенных врагов, чем те, кто по своему состоянию и воспитанию должен был как будто быть ближе всего к их взглядам».<sup>8</sup>

В этой тираде слепой, ставший зрячим, — сам Дидро, навлекший на себя ожесточенную хулу фанатиков. Не таким, совсем не таким изображает Дашкова прозревшего слепца. Она умудрилась так перелицевать ситуацию, что находит в ней аргументы в защиту рабского состояния. Дидро кинулся в атаку. Но что он ответил княгине, неизвестно; в своих записках Дашкова оборвала изложение их беседы. Ей хотелось запечатлеть их спор таким образом, как будто один из умнейших французских энциклопедистов капитулировал перед ее доводами. Будь это так, Дидро не был бы Дидро!

Между тем в действительности Дидро остался непоколебимым защитником свободы; 3 апреля 1771 года он писал Дашковой: «У каждого века есть свой отличительный дух. Дух нашего времени — дух свободы. Первый поход против суеверия был жестокий и запальчивый. Когда же люди осмелились один раз пойти против религиозного рожна, самого ужасного и самого почтенного, остановить их невозможно. Если один раз они гордо взглянули в лицо небесного величества, вероятно, скоро восстанут и против земного. Вербка, стягивающая шею всего человечества, состоит из двух снурков, из которых нельзя разорвать одного без разрыва другого».<sup>9</sup>

Читая эти строки, беспощадные и прозорливые, мы можем себе представить, какую жестокую отповедь обрушил Дидро на Дашкову во время их спора в Париже.

Два с половиной года спустя Дидро приехал в Петербург. Однако в России им не удалось встретиться: Дидро жил в столице, Дашкова — в Москве. Он послал княгине из Петербурга два письма; он продолжал считать ее в числе своих хороших знакомых. «Вы, конечно, помните, с какой свободой вы позволяли мне говорить в улье Гревиль, — писал Дидро, — той же свободой я пользуюсь и в царском дворце; я могу все говорить, что ни попадет

в голову; — умно, когда я считаю себя дураком, и глупо, когда мне кажется, что мудрым.

Идеи, перенесенные из Парижа в Петербург, принимают совершенно другой цвет».<sup>10</sup>

Знаменательное признание! Как ни очаровала известного философа русская императрица, хоть он и писал, что у нее душа Брута, а сердце Клеопатры, споры на берегах Невы, в преддверии огромной страны, стонущей под игом самовластия, носили практический, а не отвлеченный характер, как это было во время бесед его с Дашковой в одном из парижских особняков. Жестокая правда разрушила иллюзии Дидро, ранее полагавшего, что Екатерина II будет действовать по его предначертаниям.

Прошло еще несколько лет. В 1780 году Дидро и Дашкова снова встретились в Париже. «С невыразимо радостью я увидела Дидро, поцеловавшего меня с той теплой сердечностью, которою отличались его отношения к друзьям. <...> Дидро, несмотря на слабое здоровье, пощипывал меня почти ежедневно».<sup>11</sup>

Такова история знакомства Дашковой с Дидро. В ее отзывах о французском философе каждый читатель ее записок может обнаружить трогательное почитание и глубочайшее уважение: «Я очень любила в Дидероте даже и запальчивость его, которая была в нем плодом смелого воззрения и чувства; откровенность его, искренняя любовь, которую любил он друзей своих, гений его, проникательный и глубокомысленный, участие и уважение, всегда им мне оказанные, привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакала смерть его и не перестану оплакивать ее до последнего дыхания жизни.

Худо умели ценить эту необыкновенную голову: добродетель и правота руководствовали всеми его поступками и общее благо были исканием и страстью его постоянными. Если опрометчивостью своей впадал он иногда в заблуждение, то и тогда бывал искренен и сам себя обманывал».<sup>12</sup>

Встречи Дашковой с Дидро, ее восторженные суждения о французском просветителе были по достоинству оценены в пушкинском кругу. Вяземский привел по ру-

<sup>8</sup> Дидро Д. Избранные произведения. М.—Л., 1951, с. 270.

<sup>9</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 363.

<sup>10</sup> Там же, с. 365.

<sup>11</sup> Дашкова Е. Р. Записки. СПб. 1907, с. 137.

<sup>12</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. V. СПб., с. 86.

кописи только что прочитанную нами характеристику Дидро и далее с удовлетворением отметил: «Мне приятно было резким приговорам Фонвизина противопоставить благонамеренный отзыв нашей же соотечественницы; это будет от лица русских примирительное, очистительное жертвоприношение памяти мужей, которые имели свои заблуждения и погрешности, но ознаменовали земное поприще свое заслугами просвещению и, следовательно, человечеству».<sup>13</sup>

Споры Дашковой с Дидро на острые социальные и политические темы не прошли мимо сознания Пушкина, автора «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».<sup>14</sup> Ведь эти споры затрагивали важнейшие проблемы русского общественного развития, и во времена Пушкина они были не менее актуальны, чем за три года до пугачевского восстания, когда в Париже французский философ и русская княгиня пылко опровергали друг друга; естественно, что Пушкин с особым вниманием прочел страницы воспоминаний о беседах Дашковой с Дидро. И быстрый карандаш поэта оставил свой след на одной из этих страниц. . .

Личная жизнь Дашковой сложилась неудачно. Она рано овдовела; князь Дашков умер летом 1764 года — Екатерине Романовне едва исполнилось двадцать лет, Мужа она любила без памяти. На всю жизнь она осталась верна своему первому чувству.

Дети — сын и дочь — не оправдали ее надежд. Она дала первоклассное воспитание сыну (он обучался в Эдинбургском университете), но не смогла осилить природу: сын не унаследовал ума рода Воронцовых. Зато он был изумительно красив: он оказался сыном своего отца. Мужская красота, как известно, ценилась при дворе Екатерины II. Алексей Орлов, встретив Дашкову с сыном за границей, с диничной откровенностью предложил ей сделать молодого Дашкова фаворитом императрицы. Княгиня с негодованием отвергла это предложение; не о такой карьере мечтала она для сына.

<sup>13</sup> Там же, с. 86—87. — Poleмический выпад Вяземского показывает, как по-разному воспринимали Пушкин и его литературные соратники французских просветителей. Подробнее об этом см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 79—87.

<sup>14</sup> Об этом см.: Оксмац Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 66—70.

Сын осмелился самовольно жениться на дочери та-моженного чиновника. Это было ни с чем не сообразно. Незыблемые устои аристократической морали оказались под ударом. От признания равенства людей во время бесед с просвещенными европейцами до принятия этого принципа в основу собственных поступков оказалась дистанция огромного размера. Дашкова не признала неравного брака; она заставила сына разъехаться с женой. И тем не менее, как она полагала, ее престижу был нанесен непоправимый урон; она не простила сына; княгиня отказалась приехать к нему, когда он умирал. Тяжело же ей было нести крест своего крутого, деспотического нрава! С дочерью отношения были враждебные.

В 1803 году судьба преподнесла ей неожиданный подарок. К ней приехала погостить молоденькая мисс Вильмот, близкая родственница ее ирландских друзей. Дашкова всем сердцем привязалась к ней.

По настоянию мисс Вильмот Дашкова решила писать воспоминания. К изумлению молодой девушки княгиня объявила, что мемуары будут посвящены ей с тем, чтобы она впоследствии издала их в свет.<sup>15</sup> Мисс Вильмот удивлялась, почему Дашкова предназначала ей роль издательницы своих воспоминаний. Княгиня лучше ее знала условия отечественного книгопечатания; записки, повествующие о восшествии на престол Екатерины II, мемуары, в которых излагались споры автора с Дидро о крепостничестве, и многое другое не могли быть напечатаны даже в первые либеральные годы царствования Александра I.

Мисс Вильмот уехала на родину. После смерти Дашковой (она скончалась в январе 1810 года) мисс Вильмот хотела сразу же издать ее записки. Однако неожиданно возникли препятствия. В Лондоне жил брат Дашковой, Семен Романович Воронцов. Правда, с 1806 года он не был уже русским послом в Англии; но он обосновался в английской столице на правах частного лица. Ему стало известно о том, что готовятся к изданию записки его сестры, и он воспротивился опубликованию их. Воронцов умер в Лондоне в 1832 году. И только восемь лет спустя, в 1840 году мисс Вильмот напечатала английский перевод воспоминаний Дашковой.

<sup>15</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 405.

Это издание привлекло внимание Герцена; он написал блестящий историко-психологический этюд «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» и поместил его в «Полярной звезде». По его совету М. Мейзенбург перевела записки Дашковой с английского на немецкий язык; это издание записок с предисловием Герцена появилось в 1857 году в Германии. Два года спустя в Лондоне вышел русский перевод записок, осуществленный Г. Е. Благосветловым; ему также было предпослано предисловие Герцена.

В России превосходные записки Дашковой (так их аттестовал Герцен) впервые были напечатаны по-французски в 1881 году в XXI томе «Архива кн. Воронцова». Наконец, в 1907 году появилось отдельное русское издание. Для широкого русского читателя записки находились под спудом целое столетие.

Однако воспоминания Дашковой имели не только печатную, но и рукописную историю. После смерти княгини один экземпляр записок, найденный в ее бумагах, попал в руки Ю. А. Нелединского-Мелецкого. С этого экземпляра была снята копия для П. А. Вяземского. Это было в середине 1810-х годов — бумага, на которой переписаны записки Дашковой, имеет четкий водяной знак: 1814. Именно эту копию записок читал Пушкин.

В 1830-е годы Пушкин усердно изучал исторические источники. Его работа по истории XVIII века — от Петра I до Пугачева — требовала тщательных разысканий документов; он добился допуска в секретные архивы, получил разрешение ознакомиться с бумагами Вольтера, хранившимися в Эрмитажной библиотеке.

В эти годы мысль Пушкина неоднократно возвращалась к запретному имени Радищева. Именно к 1833—1836 годам, когда Пушкин работал над статьями о Радищеве, относится чтение им воспоминаний Дашковой. Сведения об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву» были наперечет, и Пушкин старался восполнить нехватку печатных материалов рукописными источниками. У издателя «Отечественных записок» П. И. Свиньина он попросил записки секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого; в них были вкраплены ценные свидетельства о ходе следствия над крамольным писателем. Естественно, что записки Дашковой, в которых также гово-

рилось о Радищеве, привлекали внимание Пушкина — благо рукописная коллекция Вяземского была к его услугам.

Пушкин выписал из «Записок» Дашковой строки о Радищеве и вступил затем с ней в замаскированную полемику. Речь шла о произведении Радищева «Житие Ф. В. Ушакова», его друга, умершего в молодости. Сравним отзвув Дашковой и Пушкина об этом некрологе.

«Мой брат имел под своим началом коммерц-коллегию и таможи, — писала Дашкова об Александре Романовиче Воронцове. — Я встречала у него одного молодого человека, г. Радищева, который получил образование в Лейпциге и к которому брат был очень привязан. Однажды в Российской академии, в доказательство того, что у нас много писателей, не знающих родного языка, мне показали брошюру, которую написал и издал этот самый Радищев. Это было жизнеописание одного из его товарищей по учению в Лейпциге, некоего Ушакова, и похвальное слово ему. Я об этом в тот же вечер сказала брату, который начал с того, что послал к книгопродавцу за этой брошюрой. Я заметила ему, что его протеже страдает зудом писать, несмотря на то что ни его стиль, ни его мысли не переварены как следует, и что у него встречаются даже мысли или выражения, опасные по нашему времени.

Несколько дней спустя мой брат сказал мне, что я слишком строго осудила маленькое произведение Радищева, что он прочитал его и что о нем можно было бы сказать, что оно лживо, ибо этот Ушаков никогда не сделал и не написал ничего замечательного, вот и все.

Возможно, сказала я, что слишком много строгости в вынесенном мною суждении. Но, так как брат интересовался автором, я сочла своим долгом предупредить его о том, что, казалось мне, я усмотрела в этой глупой маленькой брошюре: что, когда человек существовал лишь для того, чтобы спать, пить и есть, он не мог бы найти панегиристов, разве что в лице некоторых, охваченных безумием печататься при жизни, и что этот писательский зуд может привести его протеже к тому, что он напишет в будущем что-нибудь еще более предосудительное».<sup>16</sup>

<sup>16</sup> «Рукою Пушкина». Подг. к печати и коммент. М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., 1935, с. 591 (подлинник по-французски).

Сравним строгий приговор Дашковой со словами Пушкина о «Житии Ф. В. Ушакова». В запрещенной цензурой статье «Александр Радищев» (недозволенная к печати распоряжением министра народного просвещения С. С. Уварова, она впервые была опубликована лишь в 1857 году) Пушкин, по сути дела, возражал княгине: «Радищев написал „Житие Ф. В. Ушакова“. Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21 году своего возраста от следствий невоздержанной жизни, но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений» (XII, 31).

Дашкова сочла Ушакова ничтожеством, Пушкин же обратил внимание в первую очередь на привлекательные черты его характера, на его стойкость перед лицом смерти.

В отзыве Дашковой явственно проступает неприязненное отношение к личности Радищева; в статье Пушкина заметно нескрываемое восхищение нравственной непоколебимостью писателя, «политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью» (XII, 32—33).

Запомним этот скрытый эпизод принципиальной полемики Пушкина с Дашковой; вскоре мы сможем дополнить его новым, ранее неизвестным, расхождением в их взглядах.

Интерес Пушкина к воспоминаниям Дашковой не ограничивался страницами, посвященными Радищеву. Ведь Дашкова подробно описывала события, приведшие к воцарению Екатерины II, а во времена Пушкина эта тема была под строгим запретом: цензура не допускала в печать ни мемуаров, ни статей, излагавших историю дворцовых переворотов прошлого столетия. Между тем закулисная подоплека русского XVIII века издавна привлекала внимание Пушкина, писавшего еще в 1822 году заметки по русской истории XVIII столетия.

Сохранился листок бумаги, на котором Пушкин конспективно изложил свой разговор с дочерью Дашковой:

«Разумовский, Никита Панин, заговорщики. Господин Дашков, посол в Константинополе. Влюблен в Екатерину. Петр III ревнует к Елизавете Воронцовой. (Г-жа Щербинина)» (XII, 204; подлинник частично по-французски).

Госпожа Щербинина — это Анастасия Михайловна Щербинина, урожденная Дашкова. Она скончалась 19 июля 1831 года, а незадолго до ее смерти, 20 февраля Пушкин был на балу в ее доме в Москве. По всей вероятности, приведенная выше запись сделана Пушкиным зимой 1831 года. Щербинина, знавшая со слов матери подробности заговора 1762 года рассказывала Пушкину о бурных событиях того времени.

Читая «Записки» Дашковой, Пушкин, конечно, вспомнил свой разговор с ее дочерью. Пушкин прочел в воспоминаниях Дашковой о том, как она вовлекла в заговор своего дядю графа Никиту Ивановича Панина и фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Эти страницы ее записок имели особый, родословный интерес для поэта. В одной из заметок своих «Застольных разговоров» («Table-talk») Пушкин писал: «Граф К. Разумовский был в заговоре 1762 г. Исполнение было ускорено изменою одного из сообщников. Екатерина уже бежала из Петергофа, а Разумовский еще ничего не знал. Он был дома. Вдруг слышит, к нему стучатся. „Кто там?“ — „Орлов, отоприте“. Алексей Орлов, которого до тех пор гр. Разумовский не видывал, вошел и объявил, что Екатерина в Измайловском полку, но что полк, взволнованный двумя офицерами (дедом моим Л. А. Пушкиным и не помню еще кем), не хочет ей присягать. Разумовский взял посуду, поехал в фуру, приготовленную для посуды, явился в полк и увлек его. Дед мой посажен в крепость, где и сидел два года» (XII, 162).

Об этом же происшествии Пушкин вспоминает в «Моей родословной»:

Мой дед, когда мятеж поднялся  
Средь петергофского двора,  
Как Миних, верев оставался  
Паденью третьего Петра.  
Пошли в честь тогда Орловы,  
А дед мой в крепость, в карантин

Так драматически скрестились судьбы деда Пушкина и княгини Дашковой. Ведь она была среди тех, кого Екатерина II щедро наградила в первые же дни своего царствования.

Впрочем, поэт знал, что и Дашкова, взявшая сторону Екатерины II, недолго была в чести. По своим природным задаткам Дашкова была рождена властвовать. Понятно, что ей приходилось трудно при дворе Екатерины II. Две властные натуры не способны мирно уживаться друг с другом. Даже назначив Дашкову президентом Академии наук, а затем и Российской академии (учрежденной по совету княгини), императрица порой выказывала ей неодобрение. 4 декабря 1833 года Пушкин занес в свой дневник:

«...вечером у Загряжской (Нат. Кир.). Разговор о Екатерине: Наталья Кирилловна была на галере вместе с Петром III во время революции.

Только два раза видела она Екатерину сердитою, и оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала ее в Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. Остановилась на минуту — поговорила с сыном о святости того места — и прошла в Эрмитаж.

На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь отворилась, и государыня влетела, и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем проступке, говоря, что она не знала, чтобы женщинам был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно, — отвечала Екатерина. — Вы русская — и не знаете своего закона; священник принужден на вас мне жаловаться...

Наталья Кирилловна рассказала анекдот с большой живостью. Княгиня Кочубей заметила, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь в качестве президента Русской академии. Второго анекдота я не выслушал» (XII, 316).

Пушкин записал рассказ Натальи Кирилловны Загряжской, урожденной графини Разумовской, дочери того самого Кирилла Григорьевича Разумовского, решительный пример которого во многом способствовал успеху дворцового переворота 1762 года. Так в застольных бесе-

дах оживали перед Пушкиным события минувших лет, рельефнее вырисовывалась колоритная фигура княгини Дашковой.

Однако вернемся к клочку бумаги, на которой Пушкин занес свой разговор со Щербининой. Как мы помним, он записал о влюбленности князя Дашкова в Екатерину II. Это свидетельство поможет нам уточнить отношение Пушкина к воспоминаниям Дашковой. Ведь порой незаметные и на первый взгляд маловажные сведения дают новое, неожиданное освещение всей картины, нарисованной тем или иным мемуаристом. Чтобы прокомментировать эту запись Пушкина, необходимо вспомнить историю замужества Дашковой.

В 1759 году Екатерина Романовна Воронцова, 15-летней девушкой, по любви вышла замуж за блестящего, молодого, богатого офицера Преображенского полка князя Михаила Ивановича Дашкова. Через два года супруги переехали из Москвы в Петербург. Сестра Дашковой Елизавета Романовна была любовницей Петра III. Сама же Дашкова, вопреки желанию родных, избрала опасную дорогу. Она сблизилась с Екатериной и вступила в ряды заговорщиков. Дашкова была смелая женщина, за себя она не боялась. Но страстно любимого мужа она не хотела подвергать опасности. Страхась за его судьбу — заговор мог быть раскрыт — Дашкова выхлопотала ему пост русского посла в Константинополе, куда он и уехал в феврале 1762 года.

Не исключено, впрочем, что имелась еще одна веская причина, по которой Дашкова решила удалить мужа из Петербурга: ревность. В своих «Записках» княгиня не обмолвилась о влюбленности Дашкова в Екатерину II; однако косвенное подтверждение этой версии содержится в письме княгини к миссис Гамильтон: «Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты, не чуждые моей природе: неверность мужа и грязные пятна светлой короны Екатерины II».<sup>17</sup>

Для Пушкина рассказ Щербининой о влюбленности ее отца в Екатерину II мог иметь психологический интерес. В своих воспоминаниях Дашкова объясняет внезапное охлаждение к ней со стороны Екатерины II неприязненными отношениями, которые сложились между нею,

<sup>17</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 359.



Дашковой и Алексеем Орловым, братом фаворита императрицы. Между тем увлечение князя Дашкова (можно думать, что Екатерина II не была слишком строга к красивому поклоннику) не могло не отразиться на отношениях между императрицей и ее ближайшей наперсницей, княгиней Дашковой. В ее «Записках», однако, нет ни единого слова об этом вольном эпизоде из жизни екатерининского двора.

Сопоставляя рассказ Щербининой и воспоминания Дашковой, Пушкин мог убедиться, с какой осторожностью и критицизмом следует относиться к мемуарным источникам, насколько устное предание способно углубить, психологически уточнить, сделать более выпуклыми и обоснованными печатные и рукописные материалы.

Итак, по всей вероятности, Пушкин читал воспоминания Дашковой не только с неослабевающим вниманием, но и с явной настороженностью. Несправедливая оценка личности Радищева, сокрытие от потомства всей сложности своих отношений с Екатериной II, идеализация своих собственных побуждений и поступков, все это должно было вызывать раздумья, стремление досконально проверить сообщаемые ею факты, ее характеристики и оценки. Порой подобное строгое, аналитическое чтение источника наталкивало даже на возражения. Именно спором с Дашковой является помета Пушкина на рукописи ее «Записок»; эта помета касается отношения Дашковой к Дидро.

Ранее мы познакомили читателей с отзывом Дашковой о Дидро. Не правда ли, трогательная идиллия? Независимая, широко образованная русская аристократка превозносит до небес одного из столпов французского энциклопедизма, атеиста (или, как писал Пушкин, «афея»), вольнодумца Дидро. Читая ее прочувствованный панегирик, Пушкин должен был размышлять над тем, насколько слова Дашковой соответствовали ее внутренним убеждениям, насколько прочно укоренились в ее сознании принципы, сторонницей которых она с таким блеском выставила себя в своих воспоминаниях. Ведь в ее отзывах о Дидро могло быть двойное, даже тройное преломление действительных событий сквозь призму психологии и времени.

Безусловно, остроумный и проницательный Дидро; один из умнейших людей французского Просвещения, вызывал искреннее восхищение Дашковой. И вместе с тем в своем стремлении быть на равной ноге с Дидро, созна-

тельно или бессознательно, Дашкова могла выказывать себя с определенной, наиболее выгодной стороны. Этому мог способствовать и сам Дидро; ведь ум собеседника порой магически действует на его партнера; естественно, что фейерверк мысли Дидро вызывал ответные импульсы в русской путешественнице, воспитанной на лучших образцах французской просветительской литературы. Легко себе представить, что во время их бесед она мыслила собраннее и острее, чем обычно. Обаяние этих встреч безусловно отразилось на восторженной характеристике Дидро в ее воспоминаниях.

Чем безудержнее восхищалась Дашкова французским философом, тем соблазнительнее была мысль изоблечить ее в искусственном пафосе. Пушкин продолжал читать ее «Записки», и вскоре ему удалось обнаружить неприметный на первый взгляд, но, если хорошенько вдуматься, весьма примечательный эпизод, показывающий, что у Дашковой вслед за «взлетами» ее встреч с Дидро бывали «падения», столь свойственные русским барам XVIII века. Пушкин следовал за Дашковой в ее путешествии по Франции; и вот что он прочитал о посещении ею театра в Лионе.

«В первый же спектакль мы отправились в театр: леди Райдер, м-ше Гамильтон, госпожа Каменская и я; но каково было наше удивление, когда в отведенной нам ложе я нашла четырех лионских дам, расположившихся в ней; на представление моего проводника, что ложа эта предназначена герцогом для знатных иностранных дам, они, будто глухонемые, не двигались с места и ничего не отвечали. Я попросила проводника более не беспокоиться, говоря, что спектакль не представляет для меня особенного интереса, и решила вернуться домой. Леди Райдер и госпожа Каменская остались стоять за этими наглыми женщинами, а мы с м-ше Гамильтон вернулись к себе».

Реакция Дашковой вызвала возражение Пушкина; он подчеркнул слова «наглыми женщинами» («*femmes impertinentes*») и написал на полях: «*Diderot, docteur et apôtre de l'égalité, qui l'auteur admire, n'aurait pas dit cela*».<sup>18</sup>

Перевод: «Дидро, учитель и апостол равенства, которм автор восхищается, так бы не выразился».

<sup>18</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1196, л. 88.

В беседах с Дидро сконцентрирована идейная проблематика воспоминаний, и понятно, что именно эти страницы вызвали наиболее пристальное внимание Пушкина. Как только Дашкова, незаметно для самой себя, проговаривается, Пушкин хватается за руку; Вы признаете Дидро необыкновенным человеком, Вы преклоняетесь перед ним, так извольте следовать его наставлениям — так-то по существу мысль Пушкина, высказанная в его лаконичной помете на полях рукописи.

Дидро был одним из тех писателей и философов французского Просвещения, жизнь и деятельность которого остро интересовали Пушкина. В библиотеке поэта сохранилось многотомное издание сочинений Дидро, или, как говорили во времена Пушкина, Дидерота, дополнительный том его неизданных произведений, четырехтомное издание, включающее обширную переписку Дидро с его возлюбленной Софи Воллан, скульптором Фальконе, видным деятелем русского просвещения И. И. Бецким, воспоминания дочери Дидро и некоторые другие материалы.

Просматривая эти книги, легко убедиться в том, что Пушкин внимательно читал произведения Дидро. Правда, его драмы («Побочный сын», «Отец семейства») не понравились Пушкину: он осилил лишь их первые акты — остальные страницы не разрезаны; частично разрезаны и «Салоны».

Зато эпистолярное наследие философа, «Племянник Рамо», «Прогулка скептика», «Парадокс об актере», «Монахиня» разрезаны полностью, равно как и многие мелкие прозаические произведения; среди них и мемуарная статья Дидро о Дашковой. На полях этой статьи мы встречаем карандашные отчеркивания. В свое время М. А. Цявловский высказал предположение, что эти отчеркивания сделаны Пушкиным.<sup>19</sup> И хотя это являлось бы еще одним аргументом, доказывающим заинтересованность Пушкина личностью Дашковой, мы вынуждены оспорить это предположение.

Сопоставление этих отчеркиваний с подобными же карандашными отчеркиваниями мест в рукописи «Записок» Дашковой, также посвященных беседам с Дидро, не оставляет сомнения в том, что в обоих случаях отчеркивания сделаны одним и тем же лицом. Между тем часть

<sup>19</sup> Рукою Пушкина, с. 593.

отчеркнутых мест из «Записок» Дашковой приведена в монографии Вяземского о Фонвизине. Приходится признать, что и отчеркивания в сочинениях Дидро принадлежат Вяземскому. В этом нет ничего удивительного: как Пушкин пользовался рукописными материалами богатой коллекции Вяземского, так и последний широко читал книги из библиотеки Пушкина. Из письма Вяземского к Пушкину, посланного в середине февраля 1836 года, известно, что он просил прислать ему сочинения и мемуары Дидро.

Имя Дидро встречается в ряде произведений Пушкина. В стихотворении «К вельможе» (оно обращено к князю Н. Б. Юсупову, который встречался с Дидро во время своего путешествия по Европе в первой половине 1770-х годов) поэт писал:

Ученье делалось на время твой кумир:  
Уединялся ты. За твой суровый пир  
То читатель промысла, то скептик, то безбожник,  
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,  
Бросал парик, глаза в восторге закрывал  
И проповедовал. И скромно ты внимал  
За чашей медленной афею иль деисту,  
Как любопытный скиф афинскому софисту.

В первоначальном варианте XXII строфы седьмой главы «Евгения Онегина», очерчивая круг чтения своего героя, Пушкин упоминал имя Дидро, наряду с именами Вольтера, Гельвеция, Гольбаха, Руссо и других философов, историков и писателей.

Судя по одному из черновиков «Капитанской дочки», у Пушкина мелькала мысль вывести Дидро среди действующих лиц этой повести. «Пугачев разбит. Мол<sup>о</sup>дой Шв<sup>ан</sup>вич взят — Отец едет просить. Орлов. Екате<sup>р</sup>ина Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, 929).

В статье «Александр Радищев» Пушкин, высказывая критические замечания о французских энциклопедистах, писал, что «другие мысли, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо...» В этой же статье, причислив Радищева к «представителям полупросвещения», Пушкин выводил эту характеристику из его близости к энциклопедистам: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Ренала...» (XII, 36).

Но даже отрицательные стороны личности Дидро, его «политический цинизм», не могли поколебать его общую оценку в глазах Пушкина. Из всей когорты энциклопедистов он особо выделяет Дидро — «апостола равенства». «Апостол» — в словоупотреблении Пушкина — «адепт», «пылкий приверженец». В другой раз он называет Дидро «апостолом Вольтера». Пушкин любил метафорическое, переносное значение этого слова; он говорил об «апостоле гибели» — Марате, и даже именовал своего лицейского учителя Галича «апостолом неги и прохлады». Он употреблял слово в этом значении даже тогда, когда казалось бы, естественно было ожидать его прямой (религиозный) смысл; «апостолы Корана» в «Путешествии в Арзрум» означают «фанатических приверженцев ислама».

Однако вернемся к помете Пушкина. Если вспомнить расхождение между теоретическими построениями и практическими действиями Дашковой во многих случаях жизни, то следует признать, что помета Пушкина, написанная по частному случаю, точно характеризует непоследовательность ее идейной позиции.

Новонайденная помета Пушкина органически включается в круг размышлений поэта о соответствии или несоответствии жизненных принципов человеческим поступкам, о нравственной ценности и цельности личности. Все мы помним строки из первой главы «Евгения Онегина»:

Руссо (замечу мимоходом)  
Не мог понять, как важный Грим  
Смел чистить ногти перед ним,  
Красноречивым сумасбродом.  
Защитник вольности и прав  
В сем случае совсем неправ.

Как и в примере с Дашковой, Пушкин укорял Руссо в непоследовательности, в том, что провозвестник «вольности и прав» не при всех жизненных обстоятельствах был верен своей теоретической позиции.

На самом деле, оскорбленный неблагодарностью Гримма, нанесшего ему множество обид, Руссо усмотрел в эпизоде с чистой ногтей еще одно подтверждение пренебрежительного отношения к себе. И хотя все содержание «Исповеди» свидетельствовало о частых проявлениях неприязни аристократа Гримма к плебею Руссо, Пушкин не считал нужным вникать в существо их разногласий; он взял из контекста сложных отношений Руссо и Гримма отдель-

ный штрих, по которому можно судить, насколько безраздельно идея равенства проникла в сознание писателя, насколько она стала неотъемлемой частью его самого. Характерно, что этот «срыв» Пушкин ищет не в высокой сфере рассуждений, где человек, как правило, бывает начеку и старается не допустить противоречий, а в быту, в обыденной ситуации.

Десятилетие отделяет строки «Евгения Онегина» о Руссо и Гримме от пометы на рукописи воспоминаний Дашковой. В обоих случаях Пушкин соотносит поведение человека и принципы, выдвинутые или исповедуемые им. В одном случае Пушкин уличает плебея Руссо, в другом — княгиню Дашкову. Однако было бы поспешно на этом основании делать вывод о направлении идейной эволюции Пушкина. Другие высказывания его (в частности, о своем шестисотлетнем дворянстве, о майорате) говорят о том, что сословные градации до конца жизни составляли существенный элемент его взглядов. В наших примерах речь идет не об идейных симпатиях и антипатиях Пушкина, а о его попытках вскрыть противоречия в психологии различных общественных групп.

Проблема цельности человека, его нравственного и общественного облика постоянно вызывала интерес зрелого Пушкина. Он внимательно следил, соответствует ли внешняя деятельность человека, и в особенности творческой личности, его внутренней сущности.

«Повторяю, что История государства Российского есть не только создание великого писателя, — писал Пушкин, — но и подвиг честного человека» (XI, 57).<sup>20</sup>

Подвигом честного человека, по сути дела, считал Пушкин и деятельность Радищева, действовавшего «с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью» (XII, 32—33). В этическом плане Пушкин явно сближает имена Карамзина и Радищева.

На другом полюсе у Пушкина мыслители иного нравственного склада, не брезгавшие таскаться «по передним вельможам» — среди них мы встречаем и имя «апостола свободы» — Дидро. Так вступает в силу подвижная шкала оценок, при которой позиция Дидро воспринимается Пушкиным то положительно, то отрицательно.

<sup>20</sup> Об этом см.: Вацуро В. Э. Подвиг честного человека. — «Прометей», № 5, 1968, с. 8—51.

Пожалуй, еще строже, нежели «политический цинизм» Дидро, осуждает Пушкин поведение Вольтера, который в своих сношениях с Фридрихом II сам напросился на «жалкое посрамление». Заклячая свое твердое суждение о Вольтере, Пушкин писал, «что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалит благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81).

В трудные годы николаевского царствования этический вопрос становится вопросом политическим, вопросом достойного поведения писателя; именно поэтому проблема нравственного достоинства неотступно присутствует в сознании Пушкина.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Эта проблема вызывала не только раздумья, но и споры; отголоски этих споров запечатлены в пометах Пушкина на полях рукописи Вяземского о Фонвизине (см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 85—86).

После закрытия «Европейца» (1832) и «Московского телеграфа» (1834) просьбы о разрешении новых журналов рассматривались неохотно и по большей части отклонялись. Пушкин знал, что время не благоприятствовало его журнальным замыслам. Но существовать без своего печатного органа с каждым годом становилось невыносимее. Оставался единственный выход — ходатайствовать об издании типа альманаха, без упоминания крамольного слова «журнал». Пушкин так и сделал. В конце 1835 года он отправил письмо Бенкендорфу с просьбой разрешить ему издать в следующем году «4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности: на подобие английских трехмесячных Reviews» (XVI, 69).

Николай I разрешил «означенное периодическое сочинение». Внешние препятствия, таким образом, были преодолены. Но оставались внутренние затруднения. «Современник» был задуман Пушкиным как печатный орган писателей его круга. Несколько месяцев спустя Пушкин писал, что «он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“ по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты“» (XII, 184).

Однако протекшие пять лет не прошли бесследно. Многого изменилось. Умерли Дельвиг и Сомов; отошел от литературной деятельности Катенин; Ивану Киреевскому, на критический дар которого возлагали справедливые на-